

СОЦИАЛЬНЫЕ И СМЫСЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ ПОЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ

И. Девятко

ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА И ЯЗЫК СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ

В статье обсуждается взаимосвязь творчества П. Бурдьё с некоторыми ключевыми темами современной философии языка, общей теории значения и логической семантики. Автор предлагает некоторые уточнения к сформулированной Бурдьё позиции в вопросе о соотношении «внутренней» и «внешней лингвистики» в проекте структурной лингвистики, предложенном Ф. де Соссюром. Также выдвигаются некоторые критические аргументы, относящиеся к разработанному Бурдьё проекту «новой политэкономии языка». На примере современной двумерной семантики рассматривается возможность применения введенного Бурдьё понятия «лингвистического габитуса» для описания актуального горизонта речевой компетенции говорящего.

The paper discusses intricate relationships between P. Bourdieu's writings and some key problems in contemporary philosophy of language, general theory of meaning and logical semantics. Author offers some specifications concerning Bourdieu's position on a topic of relations between «internal» and «external linguistics» in initial Saussurian project of structural linguistics. Additionally, some critical arguments pertaining to a project of «new political economy of language» elaborated by Bourdieu are put forward. Possible applications of a notion of «linguistic habitus» introduced by Bourdieu to a task of description of an actor's speech competence are considered with reference to recent models of two-dimensional semantics.

Приглашение выступить на чтениях, посвященных памяти Пьера Бурдьё, было для меня и почетным, и вызывающим беспокойство. Абсолютный профессиональный авторитет Бурдьё и, по отзывам знавших его, необычное обаяние его личности дополнялись уникальной характеристикой, которую можно было отметить и без всякого личного знакомства. Он как никто смог воплотить и оправдать дефинитивную особенность своего поколения интеллектуалов. Если бы я верила в объяснительные возможности таких понятий, как «дух времени» или «базовая личность», я назвала бы это воплощением духа «шестидесятников». Что «это»? *Умение капитализировать* свои идиосинкратические страхи, неукротенный темперамент и социальные

комплексы, *настойчивое отрицание* любых контингентных и необходимых истин или даже очевидного фактического положения дел в тех случаях, когда эти истины и факты противоречат твоим интересам, *смелость* быть капризным и несговорчивым. Если воспользоваться словарем Бурдье, речь идет о культуре повышенной подозрительности к символической власти и упорного сопротивления символическому насилию в краткую эпоху, когда реальное насилие было сравнительно укрощенным и сверхрационализированным.

Источником беспокойства в данном случае стало то обстоятельство, что теория практики и практика рефлексивной эпистемологии школы Бурдье вызывает повышенное сопротивление уже у меня, но поскольку некоторые соображения по этому поводу мною ранее высказывались [1], я думаю, что говорить о них здесь и сейчас было бы демонстрацией недостатка того «чувства уместности», которое Бурдье назвал практическим смыслом (*le sens pratique*). К тому же, я принадлежу к другому поколению.

Конечно, можно было бы обратиться к тем обширным областям теоретического наследия Бурдье, которые, на мой взгляд, дают бесспорные образцы интеллектуальной изобретательности и эмпирической обоснованности — к его теории социальной вариативности вкуса, к анализу института литературы, но здесь не возникает того минимального напряжения, которое может породить сколько-нибудь интересное высказывание.

Поэтому я избрала тему, безусловно магистральную для социологической теории и методологии и скорее латеральную для творчества Бурдье, тему, в которой, как мне представляется, можно обнаружить и уязвимость теоретической стратегии постоянной ревизии и критики прежнего знания, и причудливую траекторию оплодотворяющей способности творческого ума, который «жнет» именно там, где «не сеял».

Интерес Бурдье к философии языка, лингвистике, общей теории значения и логической семантике нельзя назвать постоянным, хотя в целом ряде работ он анализирует вариативность речевых практик и различные формы языкового неравенства, порождающие культурную стратификацию. Однако же этот интерес сам Бурдье признавал одним из самых ранних в своей академической биографии: «Предприняв прежде того, как это стало модным, академическое исследование (к счастью, никогда не опубликованное), которое основывалось на методическом "прочтении" "Курса общей лингвистики" с целью основать "общую теорию культуры", я был, возможно, более других чувствителен к наиболее очевидным результатам господства этой суверенной дисциплины, касалось ли это буквальных транскрипций теоретических произведений или механического переноса идей, воспринимаемых на поверхностном уровне, или всего этого бездумного заимствования, которое, отделяя *opus operatum* от *modus operandi*, ведет к неожиданным и иногда нелепым реинтерпретациям. Но сопротивление модным вкусам — это отнюдь не неприятие, позволяющее оправдать невежество: сначала труд Соссюра и позднее, когда я осознал неадекватность модели речи (и практики) как исполнения, работы Хомского, признавшего значимость генеративных диспозиций, казались мне ставящими перед социологией некоторые фундаментальные вопросы. Однако по-прежнему на эти вопросы

нельзя найти ответ, если не переступить пределы, заданные самой интенцией структурной лингвистики как чистой теории» [2, р. 32-33].

Связь Бурдьё со структуралистской традицией в анализе языка — амбивалентная, однако несомненная*, — на поверхности проявляется в эпизодических упоминаниях, преимущественно критических, де Соссюра и Хомского, во всяком случае эта связь достаточно сильна, чтобы гарантировать устойчивость к эпидемии «герметической» теории интерпретации и релятивистского семиотического дрейфа. Брошенный Ж. Деррида вызов метафизике присутствия и идее финального значения не находит отзвука в критике структуралистской методологии у Бурдьё: да, означаемое не скрывается как последняя истина за покровами текстов или таксономии родства, однако интересующая Бурдьё истина не в бесконечном семиозисе и превращении мира в текст, а в социальных условиях производства и использования текстов. Условия интерпретации не рассматриваются им в качестве проблематичных, во всяком случае, пока социолог или антрополог не проявляет чрезмерного доверия к субъективной точке зрения собственных информантов**. Символическое господство как владение доминирующей лингвистической компетенцией определяет условия возможности речевого высказывания в большей степени, чем возможности интерпретации его языкового значения [5, р. 38—39; 6, р. 69—71]. Для Бурдьё, видимо, не так важны и границы между «эмическим» и «этическим» описаниями***, поскольку и исследователи и исследуемые имеют примерно равные шансы проявить чрезмерную доверчивость к ложной нормативности и конвенциональное™ языкового поведения, маскирующей подлинную борьбу интересов. (Так, например, в удивительно пронизательном анализе стратегий создания «специального языка» хайдеггерянцев, Бурдьё подчеркивает роль механизмов отрицания, табуирования буквальных значений слов философского жаргона, ведущих к постоянному «всплыванию» репрессированного смысла, в противовес нормальной работе естественного или научного языков: «'Специальный язык' отличает себя от научного языка тем, что скрывает гетерономию за видимостью автономии: будучи

* Подробнее об осмыслении Бурдьё некоторых ключевых идей структуралистской традиции см., в частности, [3].

** Сама возможность интерпретации «буквального» значения высказывания или поступка гарантирована, по меньшей мере, наличием объективного смысла или «объективной интенции», производимой и воспроизводимой агентом в поступках и текстах. Этот тезис обосновывается, в частности, в [4, р. 79].

*** Разведение эмического (от «фонемика») высказывания как описывающего социокультурную систему с точки зрения феноменальных различий-отождествлений, проводимых ее участниками, и этического (соответственно, от «фонетика») как описывающего сходства и различия с точки зрения сообщества ученых-наблюдателей, восходит к работе лингвиста К. Пайка [7]. Эта дихотомия получает весьма различные трактовки в современной социальной антропологии: от осмысления «этического как эмического для научного сообщества» (М. Харрис) до номиналистского убеждения в том, что «подлинная природа вещей эмическая, а не этическая» (К. Леви-Стросс) [8]. В том, что позиция Бурдьё далека от антропологического номинализма, убеждены многие постмодернистские антропологи, полагающие, вслед за М. де Серто, что первый способствовал возвращению «этнографии самого традиционалистского толка» [9, р. 56; цит. по; 10, р. 259].

неспособным к тому, чтобы функционировать без помощи обыденного языка, он должен создавать иллюзию независимости с помощью стратегий, которые создают ложный разрыв, используя процедуры, различающиеся в зависимости от поля, а в пределах одного поля — в зависимости от позиций и моментов» [11, р.140].) Куда сложнее и интереснее позиция Бурдые в вопросе о существовании и природе языковой компетенции и речевых конвенций.

Во введении к вышедшему в английском переводе сборнику статей, посвященных проблеме языка и символической власти [12], Бурдые называет соссюрианскую концепцию языка и тезис о методологической автономии «внутренней лингвистики» Троянским конем для социальных наук [2, р. 33].

Напомню, что Ф. де Соссюр отказался от характерной для гумбольдтовской программы исследования языка расширительной трактовки последнего, предложив рассматривать язык в качестве лишь части (правда, конститутивной части) более широкого понятия речевой деятельности. Язык, по Соссюру, может и должен анализироваться как относительно автономная система, которую и лингвисты, и обычные носители языковой компетенции, находят «готовой». Внутренним для системы языка — и, соответственно, релевантным с точки зрения задач «внутренней лингвистики», — «является все то, что в какой-либо степени видоизменяет систему» [13, с. 30]. «Внешняя лингвистика» (также именуемая им «лингвистикой речи»), которая изучает то, что чуждо самореферентной системе языка, в том числе историю, социологию и психологию речевой деятельности, не может объяснить внутреннее устройство языка; напротив, закономерности индивидуальной и социальной изменчивости речевой деятельности могут быть описаны и объяснены лишь на твердой почве знания о «внутренних» законах языка.

Хотя в упомянутом выше тексте Бурдые присутствует косвенное признание того факта, что названный тезис де Соссюра способствовал превращению лингвистики в наиболее успешную из наук о человеке, тематической доминантой оказывается определение лингвистического структурализма как идеологической догмы, которая использует символическую власть, гарантированную упомянутой успешностью, для навязывания прочим социальным наукам взгляда на язык как «вещь в себе», которую можно изучать отдельно от социальных условий ее производства, воспроизводства и использования. В этой постановке вопроса присутствует, по меньшей мере, одна гипербола и одна литота.

Представление о том, что прием аналитического абстрагирования от социального контекста возникновения и употребления языка мог быть навязан лингвистикой прочим социальным наукам в качестве образца определения своего предмета [2, р. 33-34], можно сравнить лишь с гипотетическим тезисом о том, что изучение логики или, если уж на то пошло, анатомии, могло помешать психологам или социологам понять, при каких условиях люди используют правила логики или возможности собственного тела, а при каких — игнорируют их. Чему действительно могло научить исследователей общества характерное для «Курса общей лингвистики» осознанное ограничение точки зрения, так это полезности временного отказа от привилегии широкого взгляда и от тотальных объяснительных теорий. Соссюр явно по-

стулировал, что язык — «лишь определенная часть речевой деятельности», правда, именно та, которая делает возможной речевую деятельность в целом. Он не успел реализовать другой свой замысел — проект создания «лингвистики речи», но (что отчасти признает и Бурдьё) был уверен в необходимости исследования связей между историей языка и историей цивилизации, а также анализа «отношения между языком и такими установлениями, как церковь, школа и т. п.» [13, с. 28]. Собственные интересы Бурдьё в области исследования социального использования языка, в частности, статусных идиолектов, классовых социолектов, институциональных контекстов использования языка, языковой политики и соотношения языка и власти, как нельзя лучше демонстрируют прозорливость Соссюра и хорошие перспективы социолингвистики — сравнительно молодой социологической дисциплины, получившей в работах Бурдьё целый ряд образцов систематической разработки. Предостерегая против реальных и мнимых опасностей сведения объяснения в социальных науках к структуралистской модели «внутренней лингвистики», Бурдьё решает усмотреть в качестве интенционального ядра науки о языке «интеллектуалистскую философию», которая готова рассматривать последний как объект ученого созерцания, а не инструмент действия и власти [5, р. 37]. Взамен этой философии языка выдвигается проект «новой политэкономии» исследования символических обменов на «лингвистическом рынке» — проект, который, в отличие от соссюровской «внешней лингвистики», никогда не будет реализован уже в силу того обстоятельства, что метафора лингвистического рынка столь сильна, что теряет даже след буквального значения, без которого, как эффектно показала философия языка (интеллектуалистская или нет?), ни одна метафора попросту не работает [14]. Бессмысленно называть рынком такую совокупность обменов, которая не предполагает аллокации прав собственности просто в силу того, что последние не могут быть определены в ситуации естественного языкового коммунизма. (Интересно отметить, что как только в некоторых институциональных контекстах последовательности речевых высказываний и просто «слова в кавычках» начинают определяться в качестве объектов собственности, они перестают быть частью спонтанной речевой практики, превращаясь в «бренды» или объекты авторского права.) Однако независимо от состоятельности проекта «новой политэкономии языка» как такового, *несколько намеченных Бурдьё базовых концептуализации могут оказаться полезны в тех областях философии языка и общей семантики, которым, насколько я могу судить, сам он не уделял особого внимания.* Далее я постараюсь проиллюстрировать это утверждение на примерах осуществленного Бурдьё анализа влияния институционального контекста на силу речевых высказываний, а также вводимого им понятия «лингвистического габитуса».

Вообще же следует заметить, что философия языка, одна из наиболее динамичных и влиятельных исследовательских программ XX в., оказала поразительно скромное влияние на творчество Бурдьё. Парадоксы интенциональности, проблемы приписывания пропозициональных установок и даже разрушительный для релятивистских теорий интерпретации и «радикальной герменевтики» тезис о необходимой взаимосвязи значений, (интерсубъек-

тивных) рациональных убеждений и истинности, получивший наиболее завершенное представление в работах Дэвидсона, не нашли отражения в социологии речевых обменов Бурдье*. Единственный заметный источник концептуальных заимствований из философии языка — теория речевых актов Джона Остина. Анализ различий между перформативными и утверждающими высказываниями естественного языка привел Остина и его последователей не только к дополнению концепции значения высказывания как совокупности условий его истинности концепцией выполнимости, но и позволил указать на дефинитивную связь такого «внутреннего» лингвистического понятия, как иллокутивная сила, с «внешними» институциональными контекстами его произнесения. Так, чтобы фраза: «Буду твоим/твоей до гроба» обрела иллокутивную силу, она должна быть произнесена не на сцене и ее должен слышать по крайней мере один собеседник с подходящим набором статусно-ролевых характеристик. В небольшой, но безупречно исполненной статье «Наделенный властью язык: социальные условия эффективности ритуального дискурса» [15], а также в упоминавшейся ранее работе об экономике лингвистических обменов содержатся замечательные образцы анализа того, как социальные институты авторизуют высказывания либо лишают их всякой перформативной силы. В сущности, мы сталкиваемся здесь с позитивным примером обратного переноса социологического анализа коммуникации в область философии языка и лингвистики. (Дэвидсон специально отмечал несводимость иллокутивной силы к речевой конвенции: «Грамматическое наклонение — не конвенциональный знак суждения или команды, потому что нет никакого конвенционального знака суждения или команды. Следует подчеркнуть, что причина этого состоит не в том, что иллокутивная сила речевого акта является его чисто ментальным, внутренним или интенциональным аспектом. Конечно, суждение или команда должны быть интенциональными, как и значение в узком смысле. Но интенция (намерение) частично состоит в том, что акт должен интерпретироваться как утвердительный или императивный, и поэтому намерение заключается, отчасти, в том, что нечто публично очевидное должно располагать к соответствующей интерпретации» [16, с. 168]).

Второй и последний пример, который представляется здесь уместным, связан с упомянутыми выше непредвиденными импликациями и неожиданными перспективами, которые, на мой взгляд, могла бы открыть систематическая разработка понятия «лингвистический габитус», введенного Бурдье в контексте уже упоминавшейся «политической экономики языка». «Габитус» как опорный элемент теории практики неоднократно подвергался обоснованной критике за недостаточную проработку когнитивных и мотивационных механизмов его «внедрения» на микроуровне поведения. Не вдаваясь здесь в детальное обсуждение этих критических соображений, хочу отметить, что «лингвистический габитус» определяется Бурдье: 1) как «про-

* Этот тезис позволяет утверждать, что успешная коммуникация, определяемая по критериям минимального согласия, сама по себе служит доказательством истинности и общности большей части наших убеждений и стандартов рациональности.

дукт всей истории отношений [совокупности речевых диспозиций и генеративных схем] с лингвистическим рынком» [6, р. 81-82]; 2) как выражение синхронического и диахронического аспекта социальной позиции внутри речевого коллектива; 3) как некий зависимый от речевой «траектории» исторически накопленный запас значений, а также опыта индивидов и речевых коллективов по уместному употреблению высказываний* в разных пространственно-временных и социальных контекстах. Ключевыми для нас здесь являются понятия «исторического накопления» и «контекстов употребления». Речь идет не о возможностях социолингвистического анализа классовых или иных социальных различий в языковой практике (которые достаточно очевидны), а о смутной, но привлекательной перспективе концептуального переноса понятия «лингвистического габитуса» в область общей семантики. Для такого переноса, как мне представляется, существует удобное «место»: разрабатываемая рядом авторов (Д. Льюис, Д. Чалмерс, М. Дэйвис и др.) двумерная семантика**.

Описывая процесс складывания индивидуального «лингвистического габитуса» в результате последовательных позитивных и негативных подкреплений в институциональных контекстах семьи, школы и других авторитетных речевых коллективов, Бурдые отмечает: «Система последовательных подкреплений и опровержений, таким образом, конституирует в каждом из нас определенное чувство социальной ценности лингвистических употреблений и соотношения между различными употреблениями и разными рынками, [чувства], которое организует все последующие восприятия лингвистических продуктов, с тенденцией наделять его стабильностью» [6, р. 82]. Это, во-первых, очень яркое описание разрастания «открытой ткани» языковых значений, постоянно подверженных любым изменениям, но сохраняющих стабильность буквального смысла. Во-вторых, это указание на возможность реинтерпретации «лингвистического габитуса» как «центрированного мира» в рамках двумерной семантики. Не вдаваясь в обсуждение этой весьма сложной концепции, отмечу лишь, что ее разработка преследует важнейшую цель создания интегрированной теории модальности, значения и когнитивной значимости. Фреге ввел различие значения и смысла, чтобы подчеркнуть самостоятельную значимость способа когнитивной репрезентации референта говорящим субъектом. Напомню, что речь шла о невозможности (или, по меньшей мере, нетривиальности) для некоторых носителей речевой компетенции в некоторых контекстах замены имен и дескрипций на кореферентные имена и дескрипции. Такая замена может вести к изменению истинностного значения предложения, в котором она произведена (из курса логики большинство помнит, что Утренняя звезда и Вечерняя звезда имеют разную когнитивную значимость, т. е. смысл, в ситуации, когда говорящий не может знать, в силу неподходящего положения в пространстве и времени либо в силу недостатка культурной компетенции,

* Слово — минимальная единица данного языка, функционирующая как высказывание (Л. Блумфилд).

**См., в частности, [17; 18].

что в обоих случаях речь идет о Венере). Карнап попробовал сохранить идею необходимой истинности для случаев априорного тождества заменяемых выражений с помощью понятия множественных миров, в которых выражения с одинаковой когнитивной значимостью-интенционалом с необходимостью будут иметь одинаковый экстенционал [19]. Современная двумерная семантика указывает два «способа», две размерности зависимости экстенционала выражения от возможных состояний мира. Один из них предполагает определение экстенционала и интенционала выражения относительно актуального мира, в котором выражение было произнесено. Этот актуальный мир имеет в своем «центре» субъекта, произносящего это выражение, другой способ производит оценку для контрфактуального мира, фиксированного относительно актуального мира. Когнитивная значимость, определяемая как интенционал выражения в актуальном мире, существенным образом зависит от когнитивной компетенции субъекта, находящегося в центре этого мира. Как можно указать на индивидуальные горизонты речевой компетенции этого субъекта? Спекулятивное, но не лишенное интуитивно схватываемого смысла предположение заключается в том, что введенное Бурдьё понятие «лингвистического габитуса» как слепка причинной истории мира, центрированного на говорящем (или отдельном речевом коллективе), может придать необходимый экстралингвистический смысл семантике этого мира. Если бы это спекулятивное предположение удалось уточнить и подтвердить, социологическая теория языка вернула бы долг лингвистической традиции, не пытаясь ее подорвать.

Литература

1. Деятко И.Ф. Социология с практической точки зрения: к критике современных теорий практики // Новое и старое в социологической теории. Вып. 3. М: ИС РАН, 2003.
2. Bourdieu P. General introduction // Language and Symbolic Power / Ed. by J.B. Thompson. Transl. by G. Raymond, M. Adamson. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 1997. P. 31-34.
3. Vanderberghe F. «The real is relational»: An epistemological analysis of Pierre Bourdieu's generative Structuralism // Sociological Theory. 1999. Vol. 17. № 1. P. 32-67.
4. Bourdieu P. Outline of a theory of practice / Transl. By R. Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
5. Bourdieu P. Introduction to: The economy of linguistic Exchanges // Language and Symbolic Power / Ed. by J. B. Thompson. Transl. by G. Raymond, M. Adamson. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 1997. P. 37-42.
6. Bourdieu P. Price formation and anticipation of profits // Language and symbolic power / Ed. by J.B. Thompson. Transl. by G. Raymond, M. Adamson. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 1997. P. 66-89.
7. Pike K. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. Glendale, CA; Summer Institute of Linguistics. 3 vols. 1954, 1955, 1956.
8. Harris M. Theories of culture in postmodern times. Walnut Creek - London - New Delhi: Altamira Press, 1999. Ch. 2.
9. Certeau M. de. The Practice of everyday life / Trans. S. Rendall. Berkeley: University of California Press, 1984.
10. Faubion J.D. Anthropology and social theory // The Blackwell companion to social theory / Ed. by B. Turner. Oxford: Blackwell, 2000. P. 245-269.

11. Bourdieu P. Censorship and the imposition of form// Language and symbolic power / Ed. by J. B. Thompson. Transl. by G. Raymond, M. Adamson. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 1997. P. 137-159.
12. P. Bourdieu. Language and Symbolic Power. Ed. By J. B. Thompson. Transl. By G. Raymond and M. Adamson. Cambridge: Polity Press, 1997.
13. Сосюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Редакция Ш. Балли и А. Сеше; Пер. с франц. А. Сухотина. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 1999.
14. Дэвидсон Д. Что означают метафоры? // Дэвидсон Д. Истина и интерпретация / Пер. с англ. А.А. Веретенникова и др. М.: Праксис, 2003. С. 336-361.
15. Bourdieu P. Authorized language: The social conditions for the effectiveness of ritual discourse // Language and Symbolic Power/ Ed. by J. B. Thompson. Transl. By G. Raymond, M. Adamson. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 1997. P. 107-116.
16. Дэвидсон Д. Грамматические наклонения и виды речевой практики // Дэвидсон Д. Истина и интерпретация / Пер. с англ. А.А. Веретенникова и др. М.: Праксис, 2003. С. 162-179.
17. Chalmers D.J. Materialism and metaphysics of modality// Philosophy and Phenomenological Research. 1999. Vol. 49. P. 473-496.
18. Chalmers D.J. Epistemic two-dimensional semantics // Philosophical Studies. 2004. Vol. 118. №1-2. P. 153-226.
19. Carnap R. Meaning and necessity. Chicago: University of Chicago Press, 1947.